



Привычка к чтению, потребность изо дня в день общаться с книгами у меня сзымалась. Много читать объясняет и профессия искусствоведа-реставратора. С удовольствием и ностальгией вспоминаю те времена, когда без всякой иронии нас называли самой читающей страной в мире. К чтению относились серьезно, прочитанное обсуждали, нередко книга становилась событием жизни. Работая в музеях Карелии, Пскова, Новгорода, Вологды, Ярославля и близко общаясь с местными журналистами, я, конечно, слышал о писателях русской провинции — Василии Ивановиче Белове, о Викторе Петровиче Астафьеве, о Евгении Ивановиче Носове. Слышал и о Валентине Григорьевиче Распутине. Но, видимо, жизнь сама выбирает момент, когда простая осведомленность сменяется пристальным вниманием души к тому или иному явлению искусства, литературы, к той или иной человеческой личности. Так у меня в конце семидесятых произошло и с творчеством Распутина.

Как правило, в конце декабря я дней на десять оседал в Таллине, где у меня было немало друзей — русских художников и писателей, эстонских актеров, режиссеров, спортсменов. В то же время удаленность от суеты позволяла спокойно подвести итоги года, обдумать новые планы. Как раз перед отъездом мне достали — а книги надо было

именно доставать — большой однотомник Валентина Распутина, изданный "Молодой гвардией". Захватил его с собой, раздался с делами, почтаю. Пришел в гостиницу, расположился, раскрыл книгу. И всё. Какие там отчеты и планы? Кажется, двое с половиной суток не выходил из номера, благо еду можно было заказать по телефону. Вообще-то, читаю я быстро, но эта проза спешки не допускала. К некоторым страницам хотелось вернуться и осмыслить их глубже.

В Москве я сразу набросился на книги Белова, Астафьева, Носова. Перечитывал какие-то вещи Шукшина, которого довелось знать лично, по-новому открывал для себя Федора Абрамова. Тогда, пожалуй, не отдавал себе отчета, а теперь понимаю, почему эти книги так запали мне в душу. Дело в том, что все, с таким мастерством в них описанное, тесно переплетается с моими корнями, с судьбами моих родственников — крестьян по отцовской линии, священников, старообрядцев — по материнской. Я стал ловить себя на мысли, что сам того не замечая, цитирую строчки из "Прощания с Матерой", из "Последнего поклона", из "Привычного дела". Не просто читаю, а можно сказать, изучаю эту прозу, я убеждался в том, что очень естественно она продолжает великие традиции русской литературы XIX века. Что ей удалось перейти через шаткий мостик рубе-

жа столетий, не расплескав чашу чистого и живого восприятия русской деревни, — основы основ нашего бытия. Ни в коем случае не умаляю значения писателей и поэтов Серебряного века, но разве не готовили они трагедию, которая обрушилась вскоре на Россию? К огромному сожалению, деятели культуры настолько заигрались со своими новаторскими идеями, настолько увязли в символизме, замуровались в башнях из словенской кости, что не заметили, как вокруг их изысканных шедевров сжимаются цепкие руки тех, кто с поэтического вечера потихоньку отправлялся на партийное задание. Почти всех поначалу очаровала революция. И Есенина, и даже моего любимого художника Ефима Васильевича Честякова. Казалось бы, крестьянин, но и он, когда в Петербурге учился в Академии, добился, объявив деревню адской соблазна. Вернувшись в Калужскую губернию, тяжело переживая начавшуюся мировую войну, все-таки ждал революцию, писал стихи о кораблях со свежим ветром в парусах. Но увидел воочию этих культуртрегеров — томик Блока в руке, на боку пристегнутый маузер, — все понял и замкнулся в скорлупу деревенской жизни... Уничтожался генетический русский нации — крестьянство, казачество, духовенство. Лишь позже, во время Великой Отечественной, вождь понял, что войну можно выиграть, только обравившись к святой святых — к русской ве-

ре и к русскому патриотизму. Потому и провозгласил тост за великий русский народ. Знал, что воевали представители многих национальностей, но как титульную нацию выделял русских...

Отношение к любимым книгам, как к людям, проверяется в трудные времена. Для меня это те девять лет, когда я из-за болезни практически не выходил из дома. Смотрел отстраненно этот пошлый "ящик". А спасение находил в книгах. Естественно, в русской классике — Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Достоевском. И опять же, не для красного слова сказано, перечитывал Шукшина, Абрамова, Носова. "Последний поклон" Астафьева для меня вообще был как лекарство. И, конечно же, обращался к книгам Распутина. К счастью, в 80-е годы я познакомился с Валентином Григорьевичем, Ивана". Она была опубликована журналом "Наш современник" а недавно в Московском доме национальности состоялось представление книги. Иркутский издатель Геннадий Сапронов включил в нее вместе с повестью и замечательные рассказы Распутина. Воспользовавшись случаем, хочу спросить Валентина Григорьевича об этой новой работе, и о том, что ей предшествовало. А начну с вопроса, который задаю всем гостям рубрики "Созидающие" — своим единомышленникам, людям, хранящим и создающим русскую культуру.

"Изба", "Видение", я понимал, что новая книга в писателе копится, дождемся ее. И вот недавно вышла, считаю, знаковая для нашей эпохи повесть "Дочь Ивана, мать Ивана". Она была опубликована журналом "Наш современник" а недавно в Московском доме национальности состоялось представление книги. Иркутский издатель Геннадий Сапронов включил в нее вместе с повестью и замечательные рассказы Распутина. Воспользовавшись случаем, хочу спросить Валентина Григорьевича об этой новой работе, и о том, что ей предшествовало. А начну с вопроса, который задаю всем гостям рубрики "Созидающие" — своим единомышленникам, людям, хранящим и создающим русскую культуру.

Вот так же, как мне обидно, что жизнь пройдет, а многого не узнал, не увидел. В чужой стороне почему-то не умел смотреть, старался поскорее сделать дело и вернуться обратно. Хотя и было любопытство, и что-то я все-таки брал из этих поездок. Но сколь многого не успели сделать, почувствовать, принять в себя. Даже в литературе.

Последние два года, я думаю, у нас было три великие книги. Это "Музыка как судьба" Георгия Васильевича Свиридова, "Без выбора" Леонида Бородин и "Двести лет вместе" Солженицына. Без этих книг нельзя. Появились они и нам как будто легче стало, мы уже жили в себе чувством.

С.Я. Без этих книг нельзя. Так же, как нельзя без прозы Распутина, без трудов Льва Николаевича Гумилева. Или книг Дмитрия Михайловича Балашова. Уход из жизни этого крупнейшего, честнейшего русского исторического писателя пресса заметила только в связи со страшным убийством. Я-то его знал сзымалась, мы в Карелии начинали бывать вместе. Поразительно, как в этом маленьком, бурном, задирством человеке рождалась такая мощная, поистине великая проза. Особенно люблю книгу о Сергии Радонежском. Настоящее глубоко он знал эпоху, так тонко чувствовал ее.

Не замечали Балашова, знать не хотели Богомолова, замалчивают другие подлинные ценности нашей культуры. Зато торопятся сообщить городу и миру подробности модной презентации или юбилей Янковского. Но ведь настоящий актер — это всегда какая-то неуспокоенность, борьба, нежелание размениваться на мелочи. А тут — малопристойные чашушки и запретное меню. Подумаешь, что в это время года-нибудь в Петрозаводске, во Пскове, в Иркутске талантливый писатель еле сводит концы с концами. У музейных трудящихся, в восторгах зарплата полторы тысячи рублей, врач получает три тысячи, учителя — четыре. Кого за это винить? Не в последнюю очередь так называемую творческую интеллигенцию. Всегда так было: своим поведением разлагали общество. А другой части интеллигенции, советской — таким, как Достоевский, потом ценой собственной жизни приходилось восстанавливать духовное здоровье нации.

И вот в конце нашей беседы мне бы хотелось спросить: что вы считаете, есть ли все это у нас? На то, что мы попали за пределы Содомы и Гоморры?

В.Р. Упрava, конечно, есть. Я уже говорил, что всю эту гадость, страхи, напустили на Россию в течение, самое большее, пятнадцати лет.

С.Я. Быстро, да. Но за те же пятнадцать лет можно и убрать, очистить. Надо только, чтобы государство поставило перед собой такую задачу: спасение России, самое главное — спасение народа. Благополучие народа в первую очередь от духовного, нравственного состояния зависит. Все на этом держится. Будет духовное, нравственное — будет и материальное, физическое, какое угодно другое благополучие.

Упрava, конечно, есть. Вот такой пример привел мне вчера один мой товарищ, доктор филологических наук. Поскольку зарплата не ахти какая даже у докторов, он преподавал в одной из московских школ. Класс неплохой, девочек много.

Расказывает он им о Пушкине, а рассказывает он прекрасно. Потом от классической литературы как-то естественно перешел на то, что не дело девушке в 16, 17, в 18 лет пить пиво, материться, ходить на всякие "гопдранье" представления. Из класса тут же вопрос: "А если пиво нравится, как его не пить?" Он начинает объяснять, что это их приучили, а вообще женщина должна быть целомудренной, женственной, чистой, готовить себя к роли матери. Слушают, смеются. Товарищ мой только и сказал: "Не смейтесь, вспомните еще меня". Урок окончен, собирает он свои тетради. Тут подходит две девочки, и одна со слезами на глазах говорит: "Как хорошо, что вы нам это сказали!". "Как же было не говорить?" — "Никто нам не говорил". Наверняка они — изгой в классе, их презирают за скромность и стыдливость, считают за отпрыск пренных понятий. И, видимо, они сами уже стали о себе так думать. Вот ведь до чего дошло. По телевидению не говорят, в классе не говорят. Родители тоже считают, что толку от подобных разговоров мало. Но ведь сказал взрослый, учитель, и это слово достигло той самой ступени, которая должна была быть задета. Не все потеряно, если среди пятнадцати, двадцати есть хотя бы две девочки, которые со слезами на глазах благодарят за слова, очищающие душу.

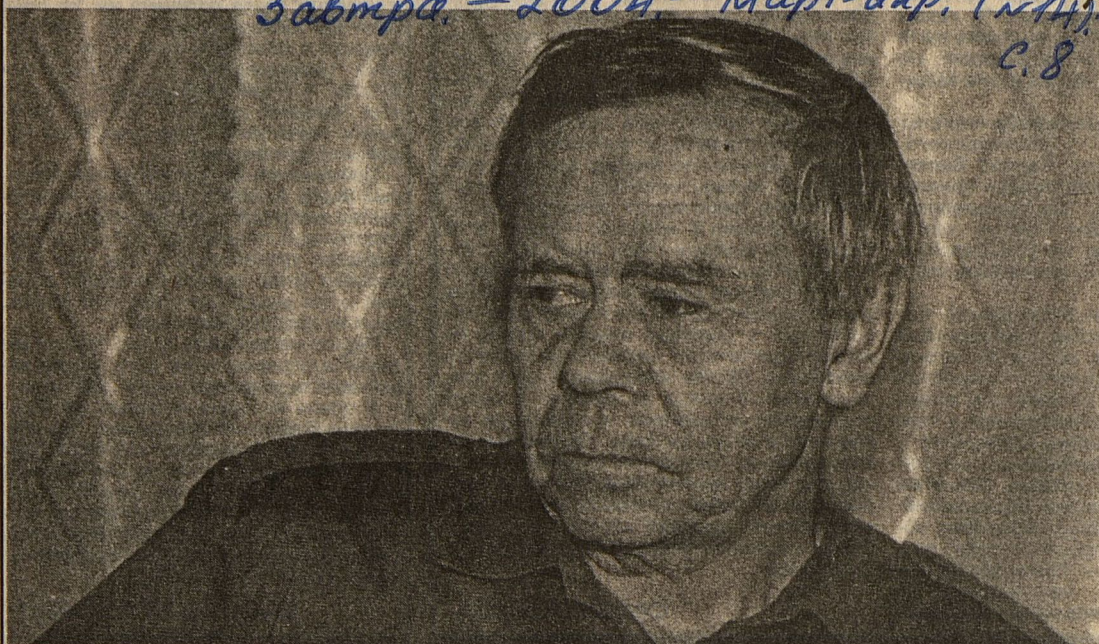
С.Я. Трудно им. Я езжу по провинции и вижу то, чего раньше просто быть не могло. На улице пить пиво из бутылки даже мужчины стеснялись. А тут иду по Ярославлю — красивые девочки лет по семнадцати сидят с пивом, курят. Я не выдержал, остановился. "Вы, — говорю, — на дедушку не обижайтесь и послушайте меня. Вы такие чудесные. Вам же надо познакомиться с хорошими парнями, полюбить, семью создать. У всех нас так было. Но если бы я был молодым парнем и увидел таких, как вы — пьющих пиво и курящих, я бы к вам не подошел. Даже к таким красивым". Удивились. "А почему, дяденька?" — "Да потому, что пить пиво на улице, курить — это прежде всего антисанитария. Раз льете на улицу, я должен опастись и всяких других санитарных последствий".

К счастью, таких, как те две девочки из московской школы, все-таки немало. Вижу их и среди нового поколения своих коллег-музейщиков. Осенью мы открывали в Ярославле выставку, а на днях читаю статью молодой сотрудницы музея в петербургском журнале "Новый мир искусства". Даже удивительно, как ее впечатляло это издание, где вообще-то предпочитают кубики и всякие кривляния. Так талантливо, таким прекрасным русским языком написано о Ярославле, о его старых мастерах, о музейных работниках, реставраторам! И это дает надежду, хотя и очень трудно сейчас говорить об оптимизме. Книга Бородина тоже ведь кончается вопросом относительно будущего. Он человек суровый, но надежда все равно проскальзывает. А раз уж наши столпы, через такое горнило прошли, выстояли, не все потеряно. Молодежь еще будет учиться у таких людей. Я в это верю.

В.Р. Я думаю, что даже те, которые нам кажутся совсем приятными людьми, наверняка какую-то дурную часть в себе оставили. Может быть, притиснули, притиснули, поскольку это не пользуется успехом и спросом, не оставили — припрятали подальше в кубышку. Хотя надо бы эту лучшую часть заставлять работать, а не держать вапзетри. Но это потановное все равно понадобится.

С.Я. И его тоже можно положить на ту чашу весов. Спасибо, Валентин.

Валентин РАСПУТИН: «ПИШУ О ТОМ,



ЧТО НУЖНО ЛЮДЯМ»

Савва ЯМЩИКОВ. Валентин Григорьевич, мы ровесники, прожили по шесть с половиной десятков. Что в своей жизни, писателя, человека, считаете главным? Что несете в душе по сей день?

Валентин РАСПУТИН. Наверное, это возможность и способность высказываться о том, что сейчас нужно обществу. Видите ли, те большие вопросы, которые как бы витают сегодня в воздухе, никого из нас не минуют. И надо закупориться совершенно, чтобы не понять, чего же ждет от тебя читатель, о чем надо рассказывать. Это не значит, что я всегда, непременно поднимал самые важные вопросы. Нет, конечно. Но меня ведь сами обстоятельства заставляли отвечать на эти вопросы. Скажем, отчуждение в семье, среди самых близких людей стало ощущаться уже в конце шестидесятых. Исподволь, потихоньку, но оно подтапливалось, и, в конце концов, трещина все-таки вышла наружу. Мы ведь стали тем, кто мы есть сейчас, только за последние десять-пятнадцать лет. И я рассказывал почти что историю нашей семьи, написал свою бабушку. Для меня это было самое главное в "Последнем сроке". Тот язык, которым пишу, он во многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники переплывалось... Когда пришло время писать, я воспользовался бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! В город приехал, университет закончил, французских и американских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт кинематографии.

С.Я. Зато Александр Сергеевич, будучи оснащенным языком, и науками, не стыдился языка Арины Родионовны и переносил его в "Евгения Онегина".

В.Р. Конечно. Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и поначалу имам такое отношение было. Потом я понял, какое это богатство, как повело и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и мне. Понял я, прежде всего, благодаря этой писателю, потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлением читал "Привычное дело" — оказывается, можно так писать, как Василий Иванович. "Последний срок" у меня очень легко получился. Летом в деревне народу собралось много, родственники отовсюду наезжали, нгде было приткнуться. Так я в баньке приспособился. Темная, одно окошечко. Поставил ящик, на него газетку, под себя подставил чурку. Так хорошо писалось!

Правда, перед этим была работа, которая мне тяжело далась, потому что хотелось написать так же изысканно, как Бунин, Борис Зайцев. Есть у меня очерк "Вниз и вверх по течению", где герой приезжает на свою родину и видит, чем стало переселение на новые места для его односельчан. Не для села даже, а для деревни в сорок дворов. А все равно тяжело далось. Мы по молодости не сознавали, а для стариков, конечно, трагедия. Я написал об этом, но написал несколько красиво, как бы отстраненно, а недавно взял и переписал этот очерк, с высоты, так сказать, человеческого и писательского опыта.

Не всегда это дается от рождения — замечать мир вокруг себя. Нужно особое зрение. У меня, кажется, было. Я стал учиться замечать так, чтобы это можно было записать или продолжить наблюдения, расширяя свой художественный мир. Недавно мне предложили составить тематически цельный сборник рассказов и публицистики. И сама собой сложилась книга о затопленной моей родине. Там сначала, после переселения, устроили большой леспромхоз, и все как будто шло неплохо, заработки хорошие. Но у нас благополучие редко ведет к нравственности, тем более что и работница была разрушительная. Ведь не хлеб сеять, не землю пахать. А лес рубить — что Божий урожай сжигать. И что же его не сжигать-то? Снимали, сколько хотели, планы перевыполняли. Но на человека это отразилось не лучшим образом. В девяностые годы леспромхоз, разумеется, сгинул. Поселок оказался без работы, без электричества и надежд. И вот все написанное об этом и собранное вместе оставило впечатляющую картину. С конца пятидесятых и по сегодняшний день — летопишь, где художественная, где документальная, о разрушении земли и человека.

С.Я. Самый страшный выплеск у тебя по этому поводу, конечно, "Пожар".

В.Р. Да, "Пожар" тоже оттуда. Там открытая публицистика, я уже не мог себе сдерживать при виде того, что тогда происходило. Дело-то ведь не только в моей родине. Она, действительно, почти окончательно погибла. Ангары не стало, нет такой больше реки, а есть четырежды обустроенная тепловая лошадка, добывающая электричество. Братская ГЭС, Иркутская, Усть-Илимская, Богучанская. Да и Енисей, в сущности, не стало, он точно так же зажат и обуздан. А линии электропередач прошли в стороне от прибрежных деревьев. А соларка-то потом стала золо-

той... Вот и судьба-судбина, не позавидуешь.

С.Я. А перебор северных рек, на борьбу с которыми ты часть своей жизни положил? Ведь не хотели подумать, что с реками будет, с людьми что. Не пойму только, вредительство, или по глупости? Но если не по глупости, если по уму, тогда что это?

В.Р. Реку повернуть — это потерять ее, потому что вполнину она будет уходит под землю, просачиваться, заблачивая землю. А что, у нас лишняя вода есть? Нет у нас лишней воды. Просто принято было выкачивать все из России в национальные республики. Теперь республики уже не наши, а метода все та же. А там нас, как это обычно бывает, за все щедрыми ненавидят. Считают, раз мы не ценим своих богатств, они нам и не нужны!

С.Я. В обмен на бусы и огненную воду. Валентин, я тебе не говорил, но мне давно задал в душу твой очерк о Кыяхте. В силу своей профессии я каждый старый город прежде всего воспринимаю в его историческом, художественном значении. Ты так удивительно поддал картину прежней Кыяхты и то, во что она превращается. Я по сей день всем рассказываю: а вы знаете, какие там были художественные коллекции, какие библиотеки! Что странно? Умирают "перспективные" деревни, но след за ними и процветающие города. Кыяхта, потом город побольше, а там до Москвы докатится. Уже докатилось, Москву настоящую мы практически потеряли. А начинается с гибели деревни. Почему-то ни Толстому, ни Достоевскому, ни Тютчеву, при всей, как сейчас принято говорить, продвинутиости их произведений, и в голову не приходило посягать на основы. А вот у нас замкнулись, и с каким же высокомерием писателей вашего круга критика "деревенщиками" назвала. Я это слово как высочайший комплимент воспринимаю, но они-то тавро поставили, чтобы отодвинуть от "основной магистрали" литературы. Тут вот о чем напомним хочется. На том пароходе, сталинском, по Беломору-Балтийскому каналу деванство писателей проехались. Своими глазами видели ГУЛАГ, с самого близкого расстояния. И что же? По возвращении с экскурсий никто не сказал: не могу так, ухожу из советских писателей! Наоборот, написали восторженные впечатления — столько было заражены. Людей с деревенскими корнями там мало, я посмотрел.

В.Р. Все это так. Хотя на вопрос с пароходом я отвечать категорично не стал бы: оказались бы там деревенщики, не оказались. Хотелось надеяться, что не оказались бы. Но, во-первых, страх был, что говорить, а перед страхом не каждый устоит. А во-вторых, пропаганда. Она работала нашими руками против нас же. Нам сегодня судить проще. Знаю, ты недавно прочитал замечательную книжку Леонида Бородина "Без выбора". Он мой земляк, иркутский. Когда из университета отчислили, пошел познавать жизнь и оказался в Норильске, а там ведь много заключенных работало. И вот у Бородин упрек Куняеву: как это тог, работа журналистом в Тайшет, не знал, что вокруг лагеря? Куняеву в книге немало упреков, но с этим все-таки я не согласен. И недалеко от моих мест лагеря тоже были. Но как считалось: там находится те, кому положено там находиться. Как к примеру, о существовании русских диссидентов очень долго не подозревал. Для меня все диссиденты были на одно лицо, и лицо это было обращено на Запад.

С.Я. Букровский, Гинзбург, Шаранский...

В.Р. Я только в 80-х познакомился с Владимиром Осиповым, ближе сошелся с Бородиным, узнал о существовании ВСОХН, организации, озабоченной русской судьбой при коммунизме.

С.Я. С Осиповым Володей мы учились вместе. Его забрали прямо из университета. И насколько его судьба замолочана, а ведь он отсидел больше всех. Но у нас считали диссидентом Аксенова, который благополучно уехал в Америку. Я смотрю на Осипова, на Бородину — у них потрясающие лица. Они, как учителя мои университетские, все пройдя, не сломались, сохранили костяк. Кого замалчивают в нашей пропаганде? Осипова, Бородину, Марченко, которого убил фразы, бились за родину, а это было невыгодно. Бородин забавно пишет, как уже в другие времена, будучи редактором журнала, оказался на каком-то приеме за одним столом с Георгием Васильевичем Свиридовым, и лидер перестройки Яковлев дважды подходил и пытался ручонку свою сунуть. Могу себе представить реакцию Бородину, а его-то сарказмом. А Свиридов прямо дал понять, что еще раз сунется — и в пятак получит. Представь, Яковлев, который Бородину практически сажал, и тянет ручонку!

В.Р. Сажал, а потом за "своего" пытался сеить. Но мы не договорились о деревне. Вот пытаются понять, интересуются: почему Россия не Франция, или Германия, или Япония? Да потому что она стоит на этом месте. В России была совсем другая цивилизация — крестьянская, а в

Европе она когда еще отмерла. Эта цивилизация и нравственность вырабатывала и тот язык, которым мы гордимся и который теперь теряем. Теряем потому, что разбомбили деревню, за последние годы окончательно ее разрушили. Остались или подвоя хуторов, или отдельные дома аграриев. Но крестьянин не аграрий, он не просто сельский работник — это духовное понятие, самой землей взращенное. Как вообще можно сравнивать Россию? У кого в XX веке такая судьба: Первая мировая война, революция, гражданская война, 15 миллионов расклеванных и сосланных, затем война Отечественная...

С.Я. И три миллиона сознательно убитых казаков. Три миллиона!

В.Р. Какая же страна могла это вынести? В шестидесятые, а частично и в семидесятые годы, крестьянство еще оставалось. Пусть пострадавшее, даже, может быть, генетически покаленное, и все-таки сколько было прекрасных людей. Тех, кто с фронта пришел, и тех, кто возрастал в этой земле. Но потом постарались и их разогнать, добить деревню окончательно. Разогнали, добили, объявив деревню "неперспективной". Да и теперь, в позапрошлом году, бешеный урожай хлеба был, а крестьяне не знали, что с ним делать. Я со многими разговаривал: им спокойнее, когда урожай средненький. Потому что меньше хлопот о горючем, которое дорожает, как только наступает уборочная. Нет урожая, значит, нет забот, кому хлеб продать. Ведь не хочется посредничать-жуликам за бесценно отдавать.

И то, что потускнел русский язык в литературе, тоже по тем же причинам. Литература ведь "черпает" из устного языка, а его носителем и был крестьянин. Конечно, прежде всего этот язык был принадлежностью нас, писателей из деревни. Это, может быть, единственное поколение, которое принесло в литературу целые пласты устного языка, раньше ничего подобного не происходило. Сейчас мы отходим, книжки наши то ли читаются, то ли не читаются, а новые писатели этого языка не знают. Да и деревня уже стала по-другому говорить.

С.Я. Знаешь, Валентин, в моей библиотеке есть три особенно дорогие мне книги, все из серии "Отечественное издательство "Молодая гвардия". Это "Лад" Василия Ивановича Белова, "Пушкинские" Семена Степановича Гейченко и твоя книга о Сибири. Читая их, понимаю: нет, не поставит нас на колени. Столько показано драгостности, столько нам Бог отпустил, а народ своими руками сотворил.

В.Р. Особо у Белова в "Ладе". Дивная книга.

С.Я. Жаль, что эта серия прекращена. Вообще, я очень ценю то, что делает "Молодая гвардия", Бородин вот выпустили. За последние время у меня было два открытия человеческого мужества. Бородин с его книгой и то, что прочитал в "Известиях" об ушедшем недавно Владимире Богомолове. Кто знал, как он живет, чем живет? Потому что держался в стороне от тусовки, был неподкупен, бескомпромиссно честен. На примере этого человека можно целые классы и школы воспитывать. Как и на примере Бородину, Осипова. А нам подсовывали других — таких, которым наплевать на "ваши" проблемы, "ваши" деревенские, так сказать, заботы.

В.Р. Они действительно богатыри, нравственные богатыри. И Осипов, и Бородин, и Богомолов. Как скала. Ветры, бури, снегопады — несмотря ни на что, стояли непоколебимо. Они, и ушедшие, стоят.

С.Я. А уходит эти богатыри незамеченными. И Евгений Иванович Носов, один из величайших писателей, и Богомолов — ни строчки, как будто не было их. Когда Юрий Куняев умер, даже пришлось с письмом обратиться к правительству: почему нигде ни слова? Это же почти отсчета, вершились!

Валентин, знаю, ты не из тех, кто говорит о своих планах преждевременно, и не о них я, Извини, но припомним Островского, которого теперь замалчивали, — что еще хотелось бы сделать, чтобы не было стыдно и мучительно больно? Какой работы хочешь для себя в опустевших судьбы и Богом годы?

В.Р. Сейчас-то особенно не стыдно за то, что сделано. Я, кажется, нигде не покривил душой. Говорят: он не писал в 80-е, не писал в 90-е. Но эта книга о Сибири, она же не просто так написана. Даже Москву из конца в конец пересечь, и то усилила надо приложить. А тут поехать, да не однажды, на Ледовитый океан, или в Кыяхту, в Тобольск, на Алтай. Байкал вроде рядом, но и он потребовал сил. Не просто ведь хотелось записать впечатления, а чтобы читалось, с пользой и вкусом читалось. Мне всегда работалось трудно, труднее некоторых других, может быть, в пять-десять раз. Вроде готовая вещь, всё на месте, а чего-то нет. Красоты, цвета, изюминки какой-то. Не хватает, может быть, двух-трех слов, которые расцветили бы эту страницу. И начинаешь искать их, переписываешь. Поэтому, может быть, и читаются Кыяхта, Тобольск, Байкал. Правда, глава о Байкале будет дополнена, хочется еще о нем написать. Сейчас делаю главу о Транссибе, она тоже необходима.

В девяностые годы писалось действительно немного. Но было множество интервью, статей, отзывов. Да и не хотелось писать. В какой-то момент появилось ощущение, что читателя больше нет. Он, разумеется, не исчез, но такое крутом творилось, что казалось, не время сейчас писать красиво — надо, пиши страшно. Ну и писал страшно. Не знаю, принесло ли это пользу, думаю, все-таки принесло. Потому что, когда приезжаешь куда-то в дальнюю сторону, люди постарше, следившие тогда за газетами и журналами, многое вспоминают. Скажем, интервью с Виктором Кожемко, которые мы делали каждый год, и не по одному, десять лет подряд. Но читатели и продолжают читать. И статьи вспоминают. Вот тут, в частности, о патриотизме, за которую меня в 91-м грязью забрасывали. Статья-то небольшая, потом уж я ее расширил, написал "Интеллигенцию и патриотизм".

Довольно непростое все давалось. И когда почувствовал, что устоял, пережили и это, потянуло опять на прозу. Совсем быть довольным работой нельзя, но главное я и в повести "Дочь Ивана, мать Ивана" сказал. А сейчас — и может быть, это будет последняя работа — надо написать о другом, не об этой безобразной жизни. Я даже по себе чувствую. Такое иной раз тяжелое настроение, что хочется взять не ту книжку, где опята душа воспламеняется, а где душа прельстится, отмякнет. Не знаю, о любви ли буду повесть, или о чем-то еще, но непременно о добрых, очень добрых отношениях между людьми. Как будто и не существующих сегодня, но где-то они все-таки существуют. А если бы даже и не существовали, написать про них надо. Как в свое время "Пожар", так сейчас, я думаю, нужна такая книга, с которой читать мог бы отдохнуть, и евзлет. И статьи вспоминают. Вот тут, в частности, о патриотизме, за которую меня в 91-м грязью забрасывали. Статья-то небольшая, потом уж я ее расширил, написал "Интеллигенцию и патриотизм".

С.Я. Мне кажется, в юном Иване из повести "Дочь Ивана, мать Ивана" есть черты героя этой твоей доброй, прельщающей душу новой книги. Извини за нескромность, но в нем я вижу себя, скажем, 50-летней давности. Также ведь этакая уминок с матерью разговаривал, а она со свойственной ей мудростью умела необходимо осадить. Мне это Иван-сын очень по душе. Может быть, он и станет героем следующей повести? В.Р. Может быть. Хотя отношения у них с матерью и не